

**НАСЛЕДИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ МЫСЛИ  
КОНЦА XIX–НАЧАЛА XX ВЕКА: ТРАДИЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ**

© 2015 г. В. А. Келдыш

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.  
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, 25а.  
info@imli.ru

**DOSTOEVSKIY'S HERITAGE  
IN RUSSIAN LITERARY THOUGHT  
AT THE TURN OF THE 19<sup>TH</sup> AND 20<sup>TH</sup> CENTURIES:  
TRADITION AND RENOVATION**

© 2015 Vsevolod A. Keldysh

Doctor of Philological Sciences, Head researcher at the Department of Russian Literature of the End of the 19<sup>th</sup> – Beginning of the 20<sup>th</sup> cc. in the A.M. Gorky Institute for World Literature of the Russian Academy of Sciences. Povarskaya 25a, Moscow, 121069, Russia,  
info@imli.ru

Статья посвящена работам о Достоевском, изученным до сих пор недостаточно. Наряду с наиболее крупным достоевсковедческим направлением, связанным с традицией модернизма, эти работы представляют собой другую важнейшую ветвь в процессе освоения творчества великого классика. Тем более, что авторы рассматриваемых работ – видные деятели литературного движения.

The article focuses on insufficiently studied critical essays on Dostoevskiy, which can be characterized as wide democratic. Parallel with the most significant studies in Dostoevskiy's work bound up with the modernist tradition, considered essays belong to another important trend of the classic writer's heritage perception process so far as the authors of these critical texts are remarkable figures of Russian literature.

*Ключевые слова:* традиция, обновление, маргинальность, Л.Н. Толстой, Горький, Н.К. Михайловский, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, Иванов-Разумник

*Key words:* tradition, renovation, marginality, L.N. Tolstoy, Gorkiy, N.K. Mihajlovskiy, D.N. Ovsjaniko-Kulikovskiy, Ivanov-Razumnik

Одним из знаменательных событий русского “серебряного” века явился резко усилившийся (с 1890-х годов) интерес к Достоевскому, затем постоянно и резко нараставший. Это констатировала уже тогда современная ему критика. Восприятие творчества писателя оставалось, однако, разноречивым. Полемика вокруг его имени не только не утихала, но временами даже усиливалась.

Со временем, о котором пойдет речь, связаны два *основных* пути освоения Достоевского. Первый – литературная мысль широкого общедемократического характера, различающаяся по своим

идеологическим пристрастиям (от либерально умеренного до радикального) и, естественно, уровню критического анализа. Другое, наиболее крупное, направление, особенно захваченное феноменом Достоевского, шло от модернистского движения (и близких к нему явлений), наиболее важной составляющей которого стала религиозно-философская ипостась, выдвинувшая ряд “неоидеалистических” концепций, предложивших, по существу (в наиболее значительных текстах), второе “открытие” Достоевского. Последующая советская литературная наука со временем целиком устранила из своего оборота этот обширнейший пласт публикаций, постепенно перемещая

в глубокую тень (начиная приблизительно с 30-х годов) и самого их великого вдохновителя – Достоевского. С “возвращением” же Достоевского была “реабилитирована” и вся эта литература о нем, породившая, в свою очередь, многочисленный поток уже современных публикаций о Достоевском и “серебряном” веке, посвященных более всего именно тому, что было ранее почти “запретным”, – философско-религиозным опусам о писателе. В продолжении работы мы также намерены еще раз обратиться к данной теме, уже затронутой в наших предшествующих публикациях.

В настоящей же работе мы обращаемся к другому направлению литературной мысли о Достоевском общедемократического – в широком понимании – характера, которая до сих пор, за исключением двух больших тем – “Л. Толстой и Достоевский” и “Достоевский и Горький”, не получила подробного освещения в литературе вопроса<sup>1</sup>. Между тем и данная ветвь “достоевсковедения” представила собою новый этап в постижении наследия великого классика, хотя развитие ее протекало неровно и противоречиво, с явственными “pro” и “contra”. Их очевидное соприсутствие оборачивалось прежде всего противоречием между традицией и обновлением.

Под традициями подразумевается прижизненная критика о писателе. О ней шла речь в нашей специальной статье, помещенной в № 1 настоящего издания за 2015 год. Позволим себе кратко напомнить о ней. В прижизненной критике мы находим принадлежащие крупным литераторам серьезные аналитические разборы сочинений писателя, приобретшие широкую известность. И однако количественно преобладающая часть ее уводила в чем-то весьма существенном в сторону от Достоевского.

Вот пример, пожалуй, из самых характерных. Признание выдающегося таланта соприкасается с весьма частой, широко распространенной версией о его двусмысленности, “неадекватности” его применения, отчужденности от литературно-эстетической “нормы”. Иными словами, с представлением о *маргинальном* характере его художнического дара по отношению к *общим* задачам искусства. И примечательно, что это весьма влиятельное представление давало ощутительно знать о себе и в последующей критике, о которой идет здесь речь.

<sup>1</sup> Развиваемый здесь взгляд впервые суммарно сформулирован нами в статье “Наследие Достоевского и русская мысль порубежной эпохи” (коллективный труд “Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в.” М., 1992. С. 80–89).

Но внутри рассматриваемого направления успешно сказывались в это время и совсем другие воззрения, возвышавшие Достоевского как фигуру высочайшей *представительности* классического века нашей литературы. Именно им в конечном счете принадлежало будущее. Но в обозреваемый период отечественной словесности оба полюса мысли – традиционный и обновляющийся – существовали приблизительно на равных. Помимо этого, их объединяло, с одной стороны, все сильнее нараставшее представление о высочайшем творческом даре писателя (хотя и неодинаково толкуемом), а, с другой стороны, безусловное неприятие его общественно-идеологической платформы (преимущественно последних лет творчества).

Все это особенно сложно проявлялось в рассматриваемом направлении литературной мысли.

Одним из самых заметных явлений “достоевсковианы” первых посмертных лет стала получившая широкий резонанс статья Н.К. Михайловского “Жестокий талант” (1882), в которой решительно утверждалось “огромное художественное дарование” Достоевского. Вопреки (традиционно отмеченным) просчетам, недостаткам его манеры, Достоевский – везде и во всем большой “художник, радующийся процессу творчества”. Весьма примечательно, что в посмертной критике эту тему задал один из самых активных оппонентов Достоевского. Но при этом отверг “всю политику и публицистику Достоевского” как “сплошное шатание и сумбур”. И, главное, – в духе своих предшественников и себя прежнего – продолжал настаивать на версии об эстетике исключительного, патологического, о сфере “редкостей” и “чудищ” как основном свойстве мира писателя, уводящем в сторону от “жизненной правды” в смысле “житейского, обыденного, нужного”. Однако художник такого масштаба способен “влагать душу живую” даже в самое “ненужное, невозможное, невероятное, уродливое, фантастическое”, “отуманивая” читателя, внушая ему видимость истины [1, с. 234, 214, 215, 208, 256, 208].

Остро ощущая, тем не менее, мрачное, болезненное, дисгармоничное у Достоевского (“Если Достоевский не разъяснил нам окончательно <...> мрачную сторону человеческой души <...>, то все-таки очень много сделал для нашего в этом отношении просвещения”), критик не видит другого. “Человек до страсти любит страдание” и “Человек – деспот от природы и любит быть мучителем” – в этих “формулах”, извлеченных из его произведений, высказался, по Михайловскому, весь Достоевский. По Достоевскому, “мучить или

мучиться или и мучить, и мучиться вместе <...> не только судьба человека, а и глубокое требование его природы". При этом для критика особенно важно, что черты "мучителя" (еще явственнее, чем "мученика") присущи самому писателю. Уже в ранних сочинениях, считает Михайловский, споря с точкой зрения Добролюбова, утверждавшего их "гуманическое направление", Достоевского занимают "жестокость и мучительство <...> со стороны их привлекательности", позднее усугубляющиеся: не «"боль" за оскорбленного и униженного человека, а напротив <...> какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному». В личности самого писателя находит критик черты "очищенного и преображенного Фомы Опискина", в герое "Записок из подполья" – чуть ли не автопортрет [1, с. 242, 218, 233, 236, 239, 185, 234, 211, 219].

Впервые так открыто и категорично была заявлена мысль, которая имела продолжение, – о Достоевском как глашатае "карамазовской" философии, "философии подполья". Приоритет Михайловского был признан. В книге "Достоевский и Нитше (философия трагедии)" (1903) Л. Шестов скажет: «Во всей русской литературе нашелся только один писатель, Н.К. Михайловский, почувствовавший в Достоевском "жестокое" человека, сторонника темной силы, искони считавшейся всеми враждебной» [2, с. 122].

Но "нашелся" не один Михайловский. В 1883 г. Н.Н. Страхов послал Льву Толстому свои "Воспоминания" о Достоевском (напечатанные в посмертном собрании его сочинений) и сразу же вслед – в ноябре того же года – письмо с их оценкой. В "Воспоминаниях" Страхов, пусть и не слишком явно, ограничивал художественное значение творчества Достоевского "субъективностью" писателя, якобы "почти всегда создававшего лица" лишь "по образу и подобию своему" [3, с. 226]. Но духовная личность Достоевского окружалась здесь ореолом высочайшей гуманности и благородства. А в частном письме, признавая неискренность только что высказанных публичных суждений, Страхов отрекался от этих похвал и утверждал нечто прямо противоположное: "Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением <...> Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен <...> Лица, наиболее на него похожие, – это герой Записок из подполья, Свидригайлов в Прест. и нак. и Ставрогин в Бесах <...> [4, с. 307–308]. Заметим, что в ранней статье Страхова о "Преступлении и наказании" (1867) был значительно более верно

понят метод Достоевского как обнаружение глубинной "сущности <...> явления" жизни, взятого в самой "крайней форме" его [5, с. 102]. Здесь же – перед нами еще одна версия о Достоевском как "подпольной" фигуре, выражающей через героев подобного рода (как считал и Михайловский) собственное исповедание. И одновременно вуалирующей свою истинную сущность "высокими <...> мечтаниями", "головной и литературной гуманностью" [4, с. 308].

Литература о Достоевском привлекала внимание к его отношениям со Страховым. Так, подтвердив убедительные предположения о сугубо личной подоплеке цитированного письма, Л.М. Розенблюм связала ее и с глубиной мирозерцательных расхождений между писателем и критиком, возникших уже в начале их знакомства. В плане этих общих расхождений существенны замечания исследователя, что еще в споре со Страховым в 1862 г. Достоевский, вопреки ригористической точке зрения оппонента, отстаивал необходимость "внимательно изучать логику чужой мысли", и что уже здесь был "теоретически <...> подготовлен" творческий метод автора будущих "великих романов-диспутов, где Достоевский стремился отыскать <...> некую субъективную правду в жизненной позиции героев, выступающих идейными противниками" [6, с. 40–45, 35, 33].

Надо полагать, что письмо Страхова от ноября 1883 г. по-своему продолжало этот спор, свидетельствовавший и в данном случае о "ножницах" между художественным мышлением Достоевского и литературными понятиями многих его современников. Сказалось непонимание полифонически оркестрованного мира произведений писателя, – той их черты, которую ныне именуют "диалогичностью" и которая диктовала особую сложность выражения авторской позиции, ее своеобразную рассредоточенность среди всех участников действия. Истина о жизни, которую несут даже самые близкие писателю персонажи, неполна. Ее частицу заключают в себе и персонажи-антиподы – со стороны провоцирующих и тем обогащающих истину сомнений в ней. Именно это было чаще всего не понято. Авторское "я верую" традиционно связывали с определенным героем (или героями одного ряда). И потому искали автора либо в "ясновидческой" мысли его сочинения, либо в мысли "подпольной". В последнем случае писатель "уличался" в сокрытии своего подлинного "я" под благостным покровом. Так снова сошлись в восприятии Достоевского противоположные литературно-общественные полюсы в лице Михайловского и Страхова.

Но на письмо Страхова последовал полный значения ответ Толстого (от 5 декабря 1883 г.). Сказав – как бы в согласии с корреспондентом – о некоей “заминке” у Достоевского, из-за которой его “ум и сердце пропали за ничто”, Толстой на самом деле развивает совершенно особый взгляд на писателя. “Мне кажется, – обращается он к Страхову, имея в виду его “Воспоминания”, – вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличения его значения, и преувеличения по шаблону – возведения в пророка и святого – человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, *который весь борьба*. Из книги вашей я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий» [7, с. 123–124]. Убеждение в противоречивой многосложности Достоевского, не поддающейся однозначным определениям, – самое важное в приведенном суждении. В этом отношении оно противостояло не только представлениям о Достоевском – пророке, учителе жизни, но и представлениям в духе письма Страхова, на что тот немедленно отреагировал в ответ Толстому: “Ваше определение Достоевского, хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него” [4, с. 310].

Позднее мысль Толстого будет постоянно возвращаться к волнующему его духовному и художественному феномену. Многие его высказывания о Достоевском сохранились и в письмах писателя, и, главным образом, в памяти современников. Высказывания – часто разноречивые. Но в них, несомненно, просматривается и общая линия. Поскольку основные толстовские суждения собраны и охарактеризованы (например, в публикации Н.Н. Гусева “Толстой и Достоевский” [7] и главе “Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский” из книги о Толстом Н.Н. Апостолова [8]), позволим себе подвести лишь общий итог.

В основном, критическим было отношение Толстого к форме произведений Достоевского – прежде всего, к их языку, собственно слогу. В этом случае он близок художественным критериям современной Достоевскому критики. Но не только в этом.

Так, в беседе с Г.А. Русановым Толстой высказал неудовольствие по поводу не только “какого-то выделанного слога” у Достоевского, но и “постоянной погони за отысканием новых характеров” [9, с. 234]. Предположительно и здесь сказанся некий отклик на прошлое литературной мысли, вызывающий в памяти, например, извест-

ный спор Достоевского с Гончаровым, с гончаровским убеждением, что истинно художественный характер возможен как “тип” только тогда, когда не обращен к “новой, нарождающейся жизни”, а запечатлевает лишь “нечто очень коренное – долго и надолго устанавливающееся” [10, с. 457, 460]. Примечательно, что в другом разговоре с Русановым Толстой хвалит “Бесов”, в которых “в особенности нравится ему Степан Трофимович” Верховенский [9, с. 255] – персонаж именно “в духе” Гончарова, воплощающий, в отличие от других героев романа, “долго и надолго” устойчивое.

И, однако, собственно толстовские художественные принципы, во многом определяемые известным его представлением о “людях как реках”, стимулировали создание “новых характеров”, преодолевающих устойчивость жизненных состояний, но при этом сохраняющих значение типа, однако в ином его понимании. На это, вопреки мнениям, что у Толстого “будто бы нет типов”, обратил внимание В.Г. Короленко в разговоре с Толстым: “типы есть”, но если у Гоголя они “взяты в статическом состоянии”, то “у вас” они “развиваются <...> У вас – динамика” [11, с. 344–345]. Надо думать поэтому, что Толстого не удовлетворила не столько “погоня” за “новыми характерами”, сколько ее художественное решение: “характеры эти только намеченные” [9, с. 234].

Но кажущимся Толстому несовершенствам исполнения постоянно противопоставлялась значительность общего смысла: “У Достоевского огромное содержание, но никакой техники” (из воспом. А.Ф. Кони [9, с. 332]). Иногда эта, одна из стержневых, мысль в толстовских суждениях о Достоевском приобретала даже парадоксальный облик: “Достоевский никогда не умел писать именно потому, что у него всегда было слишком много мыслей” (из воспом. А.В. Цингера [9, с. 391]).

Но и самое содержание творчества Достоевского Толстой принимал избирательно. Отвергал его политические воззрения и попытки примирить их с религией, осуждал “нападки на революционеров <...> он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение” [11, с. 169], но высоко ценил широкие нравственно-философские идеи писателя, неизменно, например, выделяя в этом смысле “Записки из Мертвого дома” как явление “высшего <...> религиозного искусства” [12, т. 30, с. 160]. Толстого отталкивала болезненная психика иных героев писателя. Однако даже в своих психологических крайностях Достоевский оставался для него “неподражаемым психологом-

сердцеведом” (из воспом. Г.П. Данилевского – [9, с. 259]).

Вероятно, самое примечательное в этом смысле высказывание обращено опять-таки к Страхову. В письме к Толстому от 29 августа 1892 г. Страхов повторил свою – и многих других – излюбленную мысль о Достоевском: “Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен <...> что такова именно душа человеческая” [12, т. 66, с. 254]. И получил в ответ решительные возражения: “Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что *даже в этих исключительных лицах* (курсив мой. – В.К.) не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее” [12, т. 66, с. 253–254]. По существу, Толстой сближает здесь творческий метод Достоевского со своим собственным. Конечно же, первоначально важным было это признание психологической всеобщности “исключительного” характера у Достоевского, опровергавшее еще расхожие представления. Так, немногим раньше, в 1891 г., Константин Леонтьев писал, что “от лиц Достоевского не веет правдой жизни”, что из его произведений можно в основном узнать лишь о “собственных душевных изворотах” автора, что его характеры – “вариация”, хоть и “чрезвычайно талантливая”, но “на одну и ту же весьма субъективную и болезненную тему” [13, с. 443]<sup>2</sup>.

На этом фоне Толстой демонстрировал поучительную широту взгляда на писателя (хотя и многим чуждого себе), которой далеко не всегда хватало не только современной Достоевскому критике, но и критике последующей.

Что же касается направления, о котором идет речь, то осложнившиеся в нем взаимоотношения между “pro” и “contra” стимулировали различия подхода к феномену Достоевского даже у идеологических единомышленников.

Вот один из примеров, снова напоминающий о Михайловском. В письме от 15 апреля 1895 г. В.Г. Короленко сообщил Горькому об отказе Михайловского напечатать в редактируемом им журнале “Русское богатство” горьковский рассказ “Ошибка” и объяснил причину: «Если Вы читали Михайловского “Мучительный талант” (о Достоевском), то знаете, что он даже Достоевскому не мог простить “мучительности” его образов, не всегда оправдываемой логической и

психологической необходимостью. У Вас есть в данном рассказе тот же элемент» [15, т. 10, с. 225]. Упомянутая статья называлась, как известно, иначе – “Жестокий талант”. Обмолвка по-своему знаменательна. Короленко воспринимал Достоевского не совсем “по Михайловскому” – не как “мучителя”, а как “мученика”, удрученного человеческим страданием. Примечательно, что в том же письме Горькому он сказал, что сам он “все-таки бы рассказ напечатал”, но при этом не ставя Михайловскому “в вину” его решение, поскольку оно было вызвано его общими “взглядами <...> на задачи искусства” [15, т. 10, с. 226], во многом близкими Короленко – в том числе, и по отношению к Достоевскому. Короленко сближался с Михайловским в представлении об односторонней и болезненной прикованности писателя к гнетущим, надрывным состояниям психики. В статье “Лев Николаевич Толстой” (1908) он писал об “откровениях изумительной глубины и силы” у Достоевского, которые “вскроют нам почти недоступные глубины больного духа”, и тут же предупреждал: “...не ищите в них ни законов здоровой жизни, ни ее широких перспектив”. Полная противоположность этой всепроникающей дисгармонии – “жадное искание цельности и гармонии духа” Львом Толстым: “Мир Толстого – это мир, залитый солнечным светом <...>” [15, т. 8, с. 97, 98, 104].

В воспоминаниях Короленко “О Глебе Ивановиче Успенском” приведен один из их разговоров, который «коснулся Достоевского.

– Вы его любите? – спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например, “Преступление и наказание”, перечитываю с величайшим интересом» [15, т. 8, с. 17].

Симптоматично, что эта “нелюбовь”, проистекавшая в конечном счете из чуждости мирозерцательных устремлений, как ее понимал Короленко, не смогла отменить “величайшего интереса”. Красноречивое тому свидетельство – сохранившиеся в библиотеке писателя, со многими его пометами, тома сочинений Достоевского [16].

Этому сопутствовали и достаточно многие его высказывания о Достоевском (помимо уже упомянутых), обстоятельно обзрешаемые в специальной публикации [17]. Суждения эти, взятые в целом, демонстрируют непростое соприсутствие “pro” и “contra”. Однако последние не умаляют признания выдающегося положения Достоевского в литературе мира, хотя и чуть ограничивают его по сравнению с двумя другими русскими классиками: “Мы, русские, можем действительно

<sup>2</sup> Об отношении Леонтьева к Достоевскому см. [14].

считать себя <...> гордыми тем, что наша родина дала всемирной литературе двух таких писателей, как И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой; можно прибавить и третье имя – Достоевский” (из чернового варианта статьи о Толстом) [17, с. 626].

Вернемся теперь к оппозиции “Достоевский – Толстой”, явленной в суждениях Короленко, – но уже на другом литературном примере. В критическом разговоре о Достоевском данная оппозиция становится в это время одной из характерных и стержневых. Заклучая в себе достаточно широкий смысл, она предстает одним из путей поиска общемиросозерцательной опоры как для направления литературной мысли, о котором идет речь, так и для другого, религиозно-философского полюса мысли о Достоевском, предлагавшем иные решения. Там порою помышляли о синтезе “толстовского” и “достоевского” начал в будущем искусстве. Однако при этом “приоритеты” чаще отдавались Достоевскому как явлению высшего уровня метафизического сознания.

Здесь же обратимся к книге В.В. Вересаева “Живая жизнь” – к появившейся в 1910 году ее первой части “О Достоевском и Льве Толстом” – своеобразному лирическому исследованию, подчеркнута полемичному по отношению к изданному в 1901–1902 гг. труду Д.С. Мережковского “Л. Толстой и Достоевский” (притом, что отдельные суждения Мережковского Вересаев сочувственно принимает).

Интересующая нас оппозиция широко развернута здесь – и притом значительно более категорически и прямолинейно, чем у Короленко. В “героях” первой части книги Вересаева явлены две несовместимые философии жизни. Одна – отвержение бытия, другая – ликующее его возвеличение. У Достоевского “слепота <...> на все живое”. Толстому жизнь видится “светлой, солнечной дорогой”. Достоевский отъединяет “дух <...> от тела” [18, с. 282, 491, 303]. Толстой же славит одухотворенную плоть. (Вересаев хочет выявить истинную философию Толстого – стихийного художника, “язычника”, который опровергает своим творчеством Толстого-моралиста).

Категоричность демонстративно заявлена уже в заглавиях разделов: раздел первый, о Достоевском, назван “Человек проклят”, раздел второй, о Толстом, – “Да здравствует весь мир!”. Объясняя это, нужно, разумеется, иметь в виду время, когда писалось произведение. Именно восприятие общественной ситуации, к которой всегда был особенно чуток Вересаев, повлияло на подобную прямолинейность. Усвоив представление о “мучительном” творчестве писателя, Вересаев

опасается его воздействия на русскую жизнь, только-только выходящую из послереволюционного кризиса. Ее обновление возможно – убежден автор – лишь на путях толстовской философии духовного здоровья и отвержения “достоевской” философии, как она здесь толкуется.

Но для этого нужно добыть в себе самом “силу жизни” – “живую жизнь”. А “живая жизнь” – это инстинктивные душевные начала, которые лежат “на каком-то совсем другом уровне, а не на том, где люди оперируют словами и оформленными мыслями”. “Безнамеренно” “живи подлинною своею сущностью, и само собою придет единение с миром, придет добро. Об этом уже без нас позаботится природа, благая и мудрая <...>”. К этому, по Вересаеву, сводится толстовское представление о “живой жизни” [18, с. 491, 345, 441].

Что же до Достоевского, то ему отказано в какой-либо “живой жизни”. Нетрудно, разумеется, отвергнуть подобный взгляд (хотя бы вспомнив, что сам этот образ принадлежал Достоевскому). В отличие от Короленко, Вересаев не отдает должной дани и постижению Достоевским в его героях “глубин большого духа”. В этом смысле он скорее ближе к Михайловскому (представлению последнего о “невероподобном” Достоевском), когда, например, пишет о “вопиюще неестественных и фантастичных” “подвижниках” Достоевского: “В действительности никогда не было и не могло быть ни Раскольников, ни Кириллова, ни Ивана Карамазова”. В то же время, в противоположность своим героям, сам создатель их являет истинную реальность духа, весьма крупную, уподобленную в своем неприятии мира протесту библейского Иова, “измученного жестокостями жизни” (Достоевский – “новый Иов”), но несущую на себе и печать ущерба из-за чуждости идее “живой жизни”, возводимой в высшем своем проявлении ко Льву Толстому. Однако не менее существенно и то, что эта высочайшая правда не в состоянии – в современном ей мире – преодолеть влияние противостоящей ей правды Достоевского, как это следует из итоговой мысли, завершающей вересаевское повествование: “Если в понимании человека прав Толстой, то дело, действительно, просто: нужно только вызвать на свет ту *силу жизни*, которая бесчисленными ключами бьет в недрах человечества. Но если прав Достоевский – а самый факт существования его показывает, что, по крайней мере, до известной степени прав он, – то дело очень и очень не просто. В мертвых и бесплодных недрах человечества только чуть сочатся вялые струйки жизни, ничего из этих недр не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоит еще *добывать*” [18, с. 291, 323, 491].

Книга Вересаева позволяет ощутить особенности критического (в смысле – полемического, негативного) восприятия Достоевского в широкой либерально-демократической литературной среде того времени, по сравнению с такого рода прижизненным критическим восприятием. Там, мы помним, претензии к Достоевскому часто связывались с удалением от типических процессов *общей* жизни и подменой их субъективностью автора. У Вересаева же (и не только у него) неудовлетворенность итогами мысли Достоевского не отменяла, однако, признания их неотъемлемого присутствия в *общей* жизни, что и препятствовало их преодолению. Это признание, даже у критически настроенных к писателю авторов, несравненно укрупняло восприятие масштабов деятельности и всей творческой фигуры Достоевского по отношению к прошлому восприятию.

Если в сопоставительном ряду русской художественной культуры главной фигурой в разговоре о Достоевском стал Лев Толстой, то по отношению к культуре Запада наиболее частая и важная параллель связывалась с именем Ницше. Она возникает на почве обостренного внимания к немецкому философу, которое резко усиливается и ширится к концу 1890-х – началу 1900-х годов, будучи запечатлено в изданиях его сочинений, обширной литературы о нем. Широта сказывается в причастности имени Ницше ко всем новым, либо обновлявшимся общественно-идеологическим (как и художественным) направлениям времени.

Коротко скажем об этом. В определенном отношении рецепция Ницше помогла оформиться ключевым мирозерцательным ориентиром литературного процесса – переоценке позитивистской концепции “человек-среда” “в пользу” активной личности, восстающей против фетиша фатальных обстоятельств, диктата “внешнего” закона, против всецельно детерминированного социума – но при этом оставаясь сугубо неоднозначной, крайне разнохарактерной. Подобная оценочная множественность, разноречивость проявлялись и внутри литературно-идеологических лагерей. Можно говорить, в том числе, о разных подходах к феномену Ницше у “старших” и “младших” символистов, в неорелигиозной философской критике.

Что же касается общедемократического литературного движения, то здесь разброс мнений был весьма велик. И если Лев Толстой – и многие согласные с ним – видел в ницшевской идее личности вредоносную проповедь в пользу власть имущих (притом, что и в основе его, Толстого, системы

воззрений лежала мощная антипозитивистская антропология, но иного смысла и назначения), то другие толкователи усматривали в учении немецкого философа близкое им содержание. Любопытно, что приятие подобного рода возникало и в среде, чуждой Ницше, – в левом, политически оппозиционном существующему режиму, общественном лагере. Не менее любопытно, что при этом сходились литераторы, во всем остальном являвшиеся идеологическими оппонентами, – от Михайловского до Е.А. Соловьева (Андреевича)<sup>3</sup>. Они ценят у Ницше критику мещанства, идеи религиозного примирения и – главное – пафос особого возвышения несогласной с миром личности, переосмысливая его в духе собственной активности. Сходятся они и в том, что считают неприемлемым в Ницше для себя – прежде всего его агрессивную общественно-идеологическую платформу, которую развенчивают, будучи, однако, убеждены, что ценное в ницшевском учении перевешивает ущербное.

Все сказанное неизбежно проливает дополнительный свет на интересующую нас проблему. Усиленно нараставший в 1890-е годы интерес к творчеству Достоевского был немалым обязан, свидетельствовал, например, Д.Н. Овсянников-Куликовский, возникшему в это время интересу к философии Ницше: “Ницшеанство заставило припомнить кое-что из идейного наследия Достоевского, и в журналах стали появляться статьи о Достоевском, в которых он то сопоставлялся с Ницше, то противопоставлялся ему” [20, с. 289]. Большую часть авторов, предлагавших эти параллели, сближала мысль о предварении Достоевским некоторых ведущих идей ницшевского смыслового комплекса. Но весьма неоднозначно оценивалось отношение Достоевского к этим идеям, равно как и весьма различные выводы извлекались из сопоставления двух фигур.

Так, в случае, когда в восприятии Ницше философско-критической мыслью модернизма (и тяготеющей к ней) преобладал позитивный акцент, искали сближающие Достоевского с немецким философом родственные стороны. В случае же преобладания акцента негативного Достоевский возвышался над Ницше.

Совсем иную параллель можно подчас наблюдать в другом лагере мысли. Так, у Михайловского мы встречаем весьма высокую оценку духовного бунта Ницше: “Человеческая личность есть для него мерило всех вещей”, для которой “он требует полноты жизни” и “противостояния всяким вы-

<sup>3</sup> Подробнее об этом – в нашей статье о журнале “Жизнь” [19, с. 296–298].

годам и условиям, умаляющим ее достоинство” [21, с. 94, 2-я паг.]. Но одновременно – отталкивание от агрессивных сторон учения. Примечательно, однако, что предварение Ницше у Достоевского критик находит именно в этом негативе, а не в том, что считает завоеванием немецкого мыслителя. Говоря о “мрачных глубинах жестокости, безграничного властолюбия”, которые “теперь теоретизируются Фридрихом Ницше”, Михайловский замечает: “Для русского читателя, даже не особенно вдумчивого и понятливого, это не знакомые речи <...> огромный, прямо страшный талант Достоевского и мучительная яркость его картин и образов уяснили нам этот угол мрачный психологии лучше, чем рассуждения Ницше” [22, с. 127, 126, 2-я паг.].

Вероятно, особенно красноречивым подтверждением нашей темы явилась статья А.В. Луначарского “Русский Фауст”, опубликованная в 1902 г. в журнале “Вопросы философии и психологии”. Она была полемической реакцией на статью С.Н. Булгакова «Иван Карамазов (в романе Достоевского “Братья Карамазовы”) как философский тип», помещенную в том же журнале. Мы не затрагиваем подробно развернутого в этих статьях спора (любопытного самого по себе) о соотношении героя Достоевского с “фаустовским” началом литературы XIX века, а обращаем внимание на стоящую за этим стержневую для нас тему о Достоевском и Ницше. Перед нами – пример непримиримости противоположных взглядов на нее.

В первой из статей предварением ницшеанского типа человека становится, по мысли ее автора, Иван Карамазов, в образе которого Достоевский “формулировал” “с пророческой прозорливостью проблему Ницше, проблему атеистического аморализма <...> но в противоположность Ницше”, замкнутого в своем мирозерцании, возвышается над ним, вмещающая в себя “рядом с душой Ницше-Ивана <...> душу Алеши и пророческий дух старца Зосимы” [23, I отд., с. 838–839].

В статье Луначарского встречаемся с полярным взглядом. В отличие от Булгакова, автор статьи отказывается видеть в герое романа замышленную Достоевским крупную личность, отразившую по-своему “фаустовские” “сомнения” XIX века, воспринимая Ивана Карамазова как “ипохондрика” и “декадента”, “которые все равно гибнут, либо запутавшись в собственных сетях, либо устраняемые природой”. Он убежден, что “так думал Ницше”, мысль которого несла приговор не только подобному типу личности, но и самому Достоевскому, поскольку и он, по мнению

критика, был “типичнейшим декадентом”, тогда как Ницше – “великим врагом декадентства, великим защитником жизни”, понятом в духе безбрежной активности личности, торжествующей над обстоятельствами. Отсюда – неизбежность безапелляционного итога: “Мы глубоко уважаем дар Достоевского, но считаем его клеветником на жизнь. Мы коренным образом расходимся с Ницше во многом, но считаем его великим, радостным освободителем” [24, с. 788–790, 793].

При всем том остается, как видно, вопреки самому критическому отношению к писателю, характерное для времени признание его выдающегося творческого и человеческого таланта (“великий мученик”).

Воззрения, изложенные в статье Луначарского, в дальнейшем резко меняются. Марксистская мысль отрешивается, как от греха молодости, от почитания Ницше, “преобразуя” немецкого философа уже в “послелуначарские” времена в идеологического предшественника фашизма. Сам же Луначарский решительно отказывается от идейного ниспровержения Достоевского, публикуя, к примеру, в 1921 г. статью “Достоевский как художник и мыслитель” (стенограмма юбилейной лекции по случаю 100-летия писателя), возвеличившую “титаничность художественного содержания” его сочинений, отмеченных “пониманием самых сокровенных глубин жизни”, “неизмеримых высот” “духа человеческого”, перед чем отступают на задний план чуждые марксистской мысли религиозно-политические воззрения, хотя и они по-своему обнаруживают “великого искаателя социальной гармонии” [25, с. 234, 237–238, 241]; а в 1929 г. публикуя статью «О “многоголосьи” Достоевского», высоко оценивающую известнейший труд о Достоевском М.М. Бахтина.

Что же касается “Русского Фауста”, то статью эту можно считать одним из ранних предвестий того отношения к Достоевскому, которое много позднее распространяется в нашей литературной науке, нередко подхватывающей брошенные В.И. Лениным в письме 1914 г. к Инессе Арманд слова об “архискверном Достоевском” [26, с. 294–295].

Напомним об уже сказанном – нарастающей множественности взглядов на Достоевского, порой несходных даже у идеологических единомышленников, как это было у Михайловского и Короленко. Обратимся к еще одному, значительно более красноречивому, примеру. Речь пойдет о книге “Творчество Достоевского” (1912) В.Ф. Перверзева, впоследствии известного ученого-филолога, а в ту пору – революционного социал-

демократа, написавшего эту свою первую книгу в политическом заключении.

Не погружаясь подробно в конкретное содержание данного критического сочинения, остановимся на его заключительной главе, обстоятельно формулирующей общий итог. Перед нами – совершенно другой вариант дореволюционной марксистской мысли о Достоевском, резко отличный от того, что мы видели в “Русском Фаусте”. Отличный, в том числе, заметно большей идеологической ортодоксальностью, лишенной уклонений в сторону идеалистической мысли (“нищестанство” Луначарского), *целиком* детерминирующей творчество писателя, искусство в целом конкретными социально-историческими факторами времени. И в этом смысле находящейся вполне в русле дальнейшей марксистской мысли о литературе.

Вместе с тем книгу характеризует особый взгляд на творчество Достоевского по сравнению со значительной частью марксистской критики, – взгляд в высшей степени позитивный, безоговорочно противопоставленный, например, критическому пафосу Михайловского. Ошибочность его концепции усмотрена в том, что она приняла за “исключительно психиатрический феномен” “обычное и широко распространенное состояние психики”, но доведенное в сочинениях Достоевского “до гипертрофированного, чрезмерного развития и следовательно наиболее яркого и глубокого выражения”. Суждения эти имеют некие точки соприкосновения с критикой модернистами концепции статьи о “жестоким таланте”. Коренная разница состояла, однако, в том, что последние возводили чрезвычайность психики героев Достоевского к метафизически сущностным свойствам природы человека – тогда как Переверзев толковал данный феномен только как порождение “крупных социальных аномалий”: “Пусть это больные люди, но болезнь их не исключительна, не случайна, а представляет настоящую социальную болезнь, настоящее социальное бедствие” [27, с. 338, 343, 340].

Именно с этих позиций отвергается и религиозно-философская мысль о Достоевском в лице Д.С. Мережковского, хотя и признаваемого ее “лучшим выразителем”. Но само по себе такое направление мысли “ложно”, поскольку выдвигается в “центр” сочинений писателя, между тем как представляет собою лишь “метафизическую пену”, которая “кипит” на гребне “угрюмо бьющих волн нищеты и реального унижения”. “Ложно” – в том, что “религиозное раздвоение” героев Достоевского трактуется как “самопри-

чина и самоцель”, тогда как оно “производно, вторично” перед “раздвоенностью социальной”, не являющейся “уделом всего человечества”, а “только определенных общественных групп” [27, с. 335, 351, 349, 350, 353].

В результате критик констатирует “громдное значение” творчества Достоевского, которое выдвигает общественную задачу освобождения людей “бедных” и “подпольных”. Несомненно, весьма привлекателен акцент на гуманизме Достоевского, но он присутствует у Переверзева вместе с очевидными упрощениями, характерными для исповедуемой автором идеологии, которая отмечает как “метафизическую пену” вечное и надвременное в наследии писателя. Справедливо, что творчество Достоевского невозможно уложить “в Прокрустово ложе религиозных проблем”. Однако столь же невозможно целиком вдвинуть сочинения Достоевского в прокрустово ложе социологии [27, с. 342, 367, 364, 365, 350].

Речь далее пойдет о Горьком. Место раздела о нем (вблизи Луначарского и Переверзева) имеет свое объяснение, поскольку и отношение Горького к Достоевскому оказалось частью зависимо от наиболее близкого ему в ту пору идеологического направления – социал-демократического. Разумеется, литературные понятия крупного художника слова невозможно уложить в ту или другую социально-идеологическую систему. И однако в горьковских воззрениях на русского классика – в первую очередь, в их критическом пафосе – дало знать о себе с некоторых пор, хотя и по-особому, немалое воздействие системы, о которой идет речь.

Воззрения эти – одна из самых важных составляющих в литературно-общественной позиции писателя. Постоянному присутствию творческого опыта Достоевского в сознании Горького-художника сопутствовала столь же постоянная потребность высказываться о нем – либо публично, либо в переписке, либо в устном общении. Основные суждения, приобретшие достаточно широкую известность, собраны и так или иначе истолкованы. Особенно большой материал представлен в работе Б.А. Бялика [28].

Но разговор на эту тему заслуживает продолжения. По поводу восприятия Горьким Достоевского высказывались крайние точки зрения. Одна – целиком осудительная, другая – вполне сочувственная, которая привлекалась в качестве одного из веских аргументов, когда Достоевский оказывался “не в чести”. С возвращением же в общественно-литературную жизнь подлинного Достоевского подобное восприятие горьковского

критицизма меняется на прямо противоположное. Но и там, и здесь была своя однозначность, особенно красноречивая в первом случае. Достаточно заметная страница горьковского наследия, разумеется, не сводима к позитиву, но и к негативу тоже. Точнее говорить о сложно разноречивом целом, в котором больше уязвимого, но оно соприсутствует с позитивным.

Начать с того, что у молодого Горького (1890-е годы) приятие Достоевского господствовало. Вот что он писал Чехову 5 мая 1899 г.: «Как странно, что в могучей русской литературе нет символизма, нет этого стремления трактовать вопросы коренные, вопросы духа. В Англии и Шелли, и Байрон, и Шекспир – в “Буре”, в “Сне”, – в Германии Гете, Гауптман, во Франции Флобер – в “Искушении св. Ант<ония>”, – у нас лишь Достоевский посмел написать “Легенду о великом инквизиторе” – и все!» [29, т. 1, с. 338]. Неосновательная крайность этого высказывания (в том, что касается русской литературы) слишком очевидна. Но важно другое. Очерчено именно то русло, по которому прежде всего и шло восприятие Достоевского в XX столетии, – широчайшие философские горизонты его мысли. Не аномалией (вопреки распространенной версии), а желаемой нормой будущего пути нашей литературы видится здесь автор “Легенды”.

Однако к середине 1900-х годов взгляд Горького на Достоевского резко меняется, начало чему положено статьей “Заметки о мещанстве” (1905). И примечательно, что столь крутая перемена возникает с приобретением Горького в первые годы нового века к социал-демократическому движению. Точка зрения последнего на художественную культуру подразумевала необходимость, первостепенную важность социально-революционного критерия, оценивающего явление искусства в соотношении с современным критику общественным движением. (Тут сказались определенное преемство по отношению к предшествующей радикальной критике о Достоевском, исходящей из подобных же критериев). Именно отсюда проистекало во многом (и у Луначарского – тоже) критическое восприятие Горьким Достоевского. Во второй половине 1905 года Горький вступает в РСДРП, и тогда же, в газете “Новая жизнь”, появляются “Заметки о мещанстве” (сентябрь–октябрь). Религиозно-философская “проповедь терпения, примирения, прощения, оправдания” [30, т. 23, с. 354], в которой Горький обвинял здесь Достоевского и Толстого, называя ее мещанской, несовместима с требованиями революционной ситуации в стране. Этот ход мысли – преобладающий в статье.

“Заметки о мещанстве” несостоятельны и в своей собственно историко-литературной части – в общем взгляде на художественное прошлое (“Наша литература – сплошной гимн терпению русского человека” [30, т. 23, с. 347]) и на некоторые крупнейшие его явления. Говоря о Достоевском (как и о Толстом), автор статьи, по существу, отвлекался от их творчества и выводил свои заключения прежде всего из их публицистического, проповеднического слова, упрощая к тому же и его. На смену признанию выдающегося философского дара у автора “Легенды” явилось представление о проповеднике ущербной философии “примирения”.

Неприкосновенным, однако, осталось понятие о Достоевском-художнике. И более того. То, что кратко сказано здесь об этом – пожалуй, самая высокая оценка среди других горьковских суждений на ту же тему. В противоречии с возмущением общественно-идеологической платформой Достоевского оказались восхищение, пиетет перед “величайшим гением”, вставшим наравне с Толстым “в великие ряды людей, чьи имена – Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гете” [30, т. 23, с. 352].

В годы после первой революции и позже этот спор сохранял свою публицистическую остроту, полемический накал, порой даже нарастающий в каприйских лекциях по истории русской литературы (1908–1909), а затем особенно в статьях «О “карамазовщине”» и «Еще о “карамазовщине”» (1913), отличающихся жесткостью тона, режущих слух не только стилистически, но прежде всего крайностями оценок. Сложные герои и ситуации из мира Достоевского сплошь и рядом негативно искажаются однозначным их толкованием.

Хорошо известно, что поводом для написания статей стала постановка в Московском Художественном театре инсценировки “Бесов” Достоевского под названием “Николай Ставрогин”. Полагая, что это нанесет вред общественному сознанию, Горький выступил с протестом “против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене” [30, т. 24, с. 152], что вызвало бурную реакцию в прессе, множество негодующих возражений, упрекавших автора статей в посягательстве на свободу творчества, и ответную реакцию Горького. Поскольку инцидент, о котором идет речь, достаточно широко освещался в литературе вопроса и подробно зафиксирован в библиографии писателя [31, с. 233–239, 241, 242, 244, 245], мы не рассматриваем здесь эту полемику, а останавливаемся только на толковании в названных статьях творчества самого писателя: как воспринимался

Достоевский Горьким на новом этапе его деятельности? Можно видеть здесь определенный поворот его мысли.

Проблема Достоевского возникает ныне в контексте размышлений Горького об уроках революции и причинах ее поражения, возводимых к теневым сторонам текущей и прошлой национально-исторической жизни. Поэтому основной критический акцент перемещается с религиозно-философских идей писателя на “жестокость” его художественного мира, поглощенного самыми мрачными, болезненными, уродливыми явлениями российской действительности (в статье «О “карамазовщине”» воспроизводится и известная формула – “жестокий талант”). Правда, до конца ясного ответа, отталкивается ли от них Достоевский или сам к ним причастен, у Горького не было. Для него Достоевский – и “злой гений” [30, т. 24, с. 147], и “величайший из великомучеников русских” [29, т. 11, с. 53]; но и в роли “мучителя”, и в роли “великомученика” Достоевский увековечивает пессимизм. Творчество же, которое “не увеличивает в жизни положительное <...> подчеркивая в ней лишь отрицательные стороны”, – “бесплодное” [32, с. 250] и даже опасное: в то время, как “на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы <...> требуя дружного единения умов и воли, крайнего напряжения всех здоровых сил нашей страны – время ли теперь любоваться ее уродствами? Ведь они заражают <...> не влияла ли инсценировка Карамазовых на рост самоубийств в Москве?” [30, т. 24, с. 142].

Перед нами ход мыслей – жестко определенный. Больше того – демонстративно “выпяченный” в пропагандистских целях и, однако, не исчерпывающий горьковских понятий о Достоевском. Они сложнее даже в итоговых формулах. Говоря, например, о “наследии татар и крепостного права” в русском народе, Горький многозначительно замечает: “Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей душе память о всех этих муках людских и отразил эту страшную память, – этот человек Дос[тоевский]” [32, с. 251]. В статье «Еще о “карамазовщине”» высказана одна из самых важных для автора мыслей: “Вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера” [30, т. 24, с. 155]. Но писатель замкнул себя в круге болезненно мрачных характеров, между тем как не они (равно как и не князь Мышкин с Алешей Карамазовым) “создали, и хотя медленно, а все-таки развивают культуру России” [30, т. 24, с. 148]. Ущерб, на-

носимый творчеством Достоевского, – в том, по Горькому, что оно не оставляет надежды на лучшее. И, однако, оставляет другое – уникальные в своей пронизательности и исторически важные художественные свидетельства зла.

Именно последняя мысль прежде всего обеспечила горьковским суждениям о Достоевском особое место в обширной критической литературе. Известные религиозно-философские сочинения толковали феномен Достоевского как явление прежде всего метафизической мысли. С другой стороны, исключала сколько-нибудь широкую историческую представительность и распространеннейшая версия о творчестве писателя как искусстве психологического “казуса”. Сопоставляя суждения Михайловского в статье “Жестокий талант” и суждения Горького, Б.А. Бялик справедливо отметил, что, в отличие от Михайловского, именно так, как “казус”, оценившего “жестокие” образы Достоевского, Горький связал их “с важнейшими процессами социально-исторического развития” [28, с. 289]. Народнической “субъективной социологии” в лице Михайловского, полагали вместе с Бяликом и другие исследователи, оказалась недоступна широта объективного содержания творчества писателя. Однако самая общая причина (о которой уже говорилось) была все-таки иной – расхождение между художественными понятиями Достоевского и современными ему устойчивыми эстетическими критериями. Ведь не только по поводу критики народнического толка, но и других направлений, в том числе близких ему, высказывал писатель обиду на то, что в его сочинениях не увидели “человека русского большинства” [33, с. 329]. И парадоксальным образом получилось, что наиболее внушительно подтвердил историко-типический смысл произведений Достоевского один из его самых резких оппонентов, хотя историзм оказался крайне односторонним. Ощувив мощь Достоевского в изображении исторически больного (и испытывавшего его воздействие на собственных художественных произведениях), Горький по существу отказал его творчеству в идеальном содержании.

Наш предмет – понятийная рефлексия о Достоевском. Но в этом случае позволю себе некоторое отступление к художественному творчеству Горького, имея в виду его автобиографические произведения 1910-х годов (повесть “Детство”, “В людях”, новеллистический сборник “По Руси” и др.), которые публиковались в то же время, как и статьи о “карамазовщине”. Основание для такого отступления – в том, что и им присуща очевидная публицистическая направленность, которая особенно наглядна в открытых, хорошо

известных декларациях автобиографического героя-повествователя. Интерес сопоставления с “чистой” публицистикой Горького – прежде всего в уяснении различий между двумя сферами деятельности писателя, в том числе, по отношению к “достоевской” традиции. Разумеется, здесь не может быть сколько-нибудь категорического противоположения. Но при этом художественное творчество Горького являет значительно менее прямолинейный и однозначный подход к теме.

Примечательно, что это различие ощутил сам автор, любопытно высказавшись по сему поводу в письме А.М. Коллонтай (от конца апреля 1913 г.) – в ответ на ее восторженные похвалы “Запискам проходящего” (первоначальное название первого цикла сборника “По Руси”): “...Не это сейчас нужно, не об этом надобно писать, и не так <...> сейчас Русь нуждается прежде и больше всего в даровитых публицистах, в людях, которые, вырвав из своих грудей сердца, хлестали бы ими по харям моих земляков” [29, т. 10, с. 321]. Сочинения, о которых идет речь, и в самом деле не хлещут “по харям”, что, вопреки сожалению автора, как раз и придает им привлекательность.

Напомним о высочайшей оценке Горьким искусства Достоевского запечатлеть российские национальные болезни и одновременно о его упреках в отсутствии у писателя позитивного содержания, что наносит ущерб даже сильным сторонам его творчества, поскольку оставляет читателя наедине лишь с проявлениями зла. Что же до явственных признаков подобного содержания, предстающих у Достоевского в религиозно-философском и – шире – в высоком общенравственно-философском ореоле, каковы жалость, терпение, милосердие – всё, что имеет соприкосновение с так называемым “сострадательным гуманизмом”, – то Горький-публицист относит и их – “по ницшевски” – к духовному ущербу, порождающему пассивно рабскую психику. Так в основном в его статьях и суждениях.

Но во многом не так – в его художественных текстах. В них “жалость” не “унижает человека” (закавычен памятный афоризм Сатина из “На дне”).

Мысль об “огромном” осложнении горьковского художественного мира началом утешительной жалости (но не “утешительной лжи”, какая нередко виделась писателю) высказал К.И. Чуковский в статье, выразительно названной “Утешеньишко людишкам”. В конечном счете, речь шла здесь не о категорическом разрыве Горького с собой прежним (он так же, “как прежде”, продолжал проти-

виться “вечному российскому соблазну” [34]), а об интенсивном нарастании в его сочинениях чувствований, по-новому осмысляемых. И хотя для автора “Детства” “правда” и поныне – “выше жалости” [35, т. 15, с. 20], два этих начала уже не противостоят друг другу, а взаимодействуют в горьковских произведениях. Близкий друг Горького М.Ф. Андреева писала ему в сентябре 1913 г. о своих впечатлениях от повести “Детство”: “... и вот сижу и плачу, как-то и от радости, что так хорошо, и от любви, и от *жалости*” (курсив мой. – В.К.) [36, с. 216–217]. «Знаменательно, что и само слово – “жалость” – стало одним из ключевых в тогдашней критике о горьковской автобиографической прозе» [37, с. 175], уловившей ее очень важную эмоционально-смысловую составляющую. “Так до людей жалостлива...” [35, т. 14, с. 293] – сказано о героине рассказа “Женщина”, одной из самых привлекательных в цикле “По Руси”. Жалость к людям опоэтизирована в героине “Детства” и “В людях” – бабушке, вызвавшей особенные симпатии у читателей. Этот эмоциональный комплекс запечатлен здесь наиболее красноречиво. Терпение – другая черта героини, в которой сказывается выносливый, мужественный характер. А между тем в критических суждениях советских лет качество это не раз оценивалось как негативное. Да и сам автор, приводя слова бабушки: “Терпеть надо, Олеша!”, осознает неприемлемость для себя такого пути жизни, но одновременно понимает, что слова бабушки не покрывают реальной сути образа героини, чьей “душою” он “восхищался” [35, т. 15, с. 456].

В общем же и целом, примеры известного сближения горьковской автобиографической прозы с традицией Достоевского в сфере эмоционально-нравственной, корректирующие внушения публицистики, легко множить.

Разумеется, это никак не отменяет глубин кардинального различия между писателями, восходящего прежде всего к полярности общественно-идеологической и выражающегося особенно наглядно в интенсивной полемике (как в публицистике, так и в художественном творчестве) с рядом идей Достоевского.

Полемическая нота присутствует и в иных публицистических “вторжениях” повествователя в рассматриваемый автобиографический текст. Так, к концу повести “Детство” повествователь указывает на самую важную для него ее тенденцию – “сквозь пласт всякой скотской дряни” “победно прорастает яркое, здоровое и творческое” [35, т. 15, с. 193–194]. Читатель, знакомый со

статьями о “карамазовщине”, вправе увидеть в этой “формуле” и литературное противостояние.

Однако в других отношениях, имея в виду именно “карамазовские” статьи, Горький оказывается снова по-своему солидарен с Достоевским – точнее со своим видением его. В этом случае речь идет об отношении к темным сторонам национальной жизни. Напомним, что предшествующая автобиографическим сочинениям повесть “Городок Окуров” начиналась с эпиграфа из Достоевского: “...уездная, звериная глушь” [35, т. 10, с. 7], сохраняющего свое значение и в последующих произведениях писателя. При всей заметно более просветленной атмосфере автобиографических повестей в них не умалется пристальное внимание к “свинцовым мерзостям дикой русской жизни” [35, т. 15, с. 193]. Вслед за “Детством” подобная же публицистическая декларация возникает и в повести “В людях”, еще раз напоминая о сугубой важности крупномасштабного живописания окружающей “подлой и грязной жизни” и о том, что “нельзя скрывать грозную правду” [35, т. 15, с. 524]. В результате на всем протяжении автобиографического цикла неизменно достаточно сильное сгущение мрачных красок, иные из которых подчас более жестоки, чем те, что виделись Горькому у Достоевского. Хотя бы такой, эпизодический в общей картине, фрагмент из повести “В людях”: дворник публичного дома с размаху ударяет о тумбу “дымчатую кошку”, “так что на меня брызнуло теплым” [35, т. 15, с. 524]. (Именно после этого страшного эпизода следуют упомянутые слова повествователя о необходимости живописать “подлую и грязную жизнь”).

Напомним: автор статей о “карамазовщине” говорил о том, что в целях оздоровления общества “не Ставрогиных надобно <...> показывать теперь, а что-то другое” [30, т. 24, с. 156] – именно социально-обнадеживающее. При этом имел в виду прежде всего театр как наиболее действенное по своему влиянию искусство, но подразумевал, несомненно, и более расширительное применение своей мысли. В художественном же его творчестве этого времени, как видим, – значительно менее категоричная установка на изображение Ставрогиных.

К подобному итогу в конечном счете подводит и формирующееся у юного автобиографического героя, хотя и противоречиво, представление о книгах, нужных для жизни. Его привлекают те, что романтически возвышают над действительностью, прикрывая “прозрачным, но непроницаемым облаком от <...> ядовитых отрав жизни”. И потому он “прочитал неохотно” “Записки из

Мертвого дома”, как, впрочем и “Мертвые души”: уже самые названия (как и “Три смерти”, “Живые мощи” и др.) возбуждали “смутную неприязнь” к ним. Но, с другой стороны, рассказав о некоторых “злых забавах” людских, герой посетовал: “И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом” [35, т. 15, с. 394, 466, 406]. Оказывается властной потребностью и в совсем другого рода книгах, погружающих в гущу зла жизни, – потребностью, которой в русской литературе, полагал Горький, особенно отвечал Достоевский.

В автобиографическом герое рассказов и прозаических набросков Горького, сопровождающих повести “Детство” и “В людях”, – “Musica”, “Музыка”, “В театре и цирке”, “Театральное” – встречаем подобное же соединение верности романтической мечте с пристальным интересом к кошмарам жизни. Отсюда – и та же двойственность требований к искусству. С одной стороны – романтическое переживание музыки; а в театре – “Карл Моор, разбойники <...> Квазимодо”, которые “кружили мне голову”. Но в то же время – потрясение, испытанное от актера “Андреева-Бурлака в образе Иудушки Головлева”, приобщавшее героя к горькому познанию “того, чем так богата темная, запутанная, болезненно жестокая душа русской жизни”. И симптоматично, что сразу вслед за этим возникает ассоциация с Достоевским: “Много лет спустя я снова пережил такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Федоре Карамазове” [35, т. 15, с. 564, 555, 556].

Сопоставление двух сфер деятельности Горького позволяет, как видим, уяснить в большей полноте его отношение тех лет к наследию великого предшественника. Единит обе сферы соотношение притяжений с отталкиваниями, но в каждой из них оно различно. В художественных сочинениях притяжения в общем и целом гораздо более явственны, корректируя в известной степени неприятные упрощения и явные крайности в ходе мысли о Достоевском Горького-публициста.

Остается сказать, что непростые отношения между горьковской публицистикой и большим автобиографическим циклом 1910-х годов справедливо заметила уже тогдашняя литературная среда в лице таких известных ее фигур, как Р.В. Иванов-Разумник, А.А. Измайлов, В.Л. Львов-Рогачевский и др., на что обратили внимание и позднейшие исследователи [37, с. 167–168]. Хорошо известно выразительное суждение по этому поводу А.А. Блока из письма П.С. Сухотину: «Прочтите “Детство” Горького – независимо от всяких

его анкет, публицистических статей и прочего. Какая у него бабушка!» [38, с. 456].

Перейдем теперь к восприятию Достоевского в общих трудах историко-литературного и общественного характера. Ряд таких книг по истории отечественной литературы и общественной мысли выходит в России с 1890-х годов и в позднейшее время. Их авторы тоже являются так или иначе оппонентами Достоевского в сфере идеологической. Его общественному *credo* второй половины 1860-х – начала 1880-х годов противостоит в их лице разного толка прогрессистское направление мысли. Но самый жанр подобного исследования вызвал к большей нелюбовности, чем собственно литературно-критическое амплуа.

Важно и другое. Жанру, о котором идет речь, уже по своему определению было чуждо представление о целиком отчужденных, изолированных от изучаемого процесса явлениях и фигурах. Так или иначе они должны были найти место в общем духовном движении.

Это, разумеется, никак не отменяло их оригинальности, необычности, даже уникальности. Но такого рода уникальность рассматривалась не как выпадение из общего ряда, а как непохожее на все другое, но запечатление существующей в данном ряду тенденции. Либо как совершенно новое явление (положительного или отрицательного свойства), впервые явленное в осязаемой форме, крупно и выпукло, до сих пор лишь предугадываемое, а если и пребывавшее, то лишь в зачаточном состоянии.

Все это, понятно, особо существенно для восприятия Достоевского русской критической мыслью. Можно было видеть, как в специальных публикациях о нем этого времени постепенно наступает отход от его былой “маргинализации”. В трудах, о которых пойдет речь, это движение выразилось достаточно отчетливо, а в иных случаях, пожалуй, еще более явственно.

Определенные подтверждения этому находим, например, в деятельности А.М. Скабичевского, который в ипостаси критика оказался пристрастнее к Достоевскому, нежели в роли автора “Истории новейшей русской литературы” (1848–1892), (2-е изд., СПб., 1893), наблюдающего “закваску гуманных идей”, “демократический дух” и у позднего Достоевского.

На примере Скабичевского можно видеть признаки движения навстречу Достоевскому, хотя очень робкие, со стороны традиционно недоброжелательной к нему.

В первой половине 1900-х гг. значительное место творчеству Достоевского уделит в двух исто-

рико-литературных книгах известный критик той поры Е.А. Соловьев (Андреевич) – “Очерки по истории русской литературы XIX века” и “Опыт философии русской литературы”.

Уже в истоках разговора о Достоевском мы встречаемся с, казалось бы, хорошо знакомой по прижизненной критике о писателе версией о нем. Сближение Достоевского с его сверстниками, читаем здесь, “очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни <...> в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, *не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе* (курсив наш. – В.К.) [39, с. 477–478].

Однако общим направлением мысли критика в немалой степени видоизменяется приведенный выше категорический тезис. Исключительность художественного мира писателя и его отличие от выдающихся современников получают уже с раннего этапа его деятельности социально-историческое объяснение, начинающееся с самого первичного – “выбора сюжетов”. В отличие от “бар Тургенева, Толстого, Гончарова” Достоевский внедрялся совсем в другую сферу – “мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата” [39, с. 482] – мир большого города. И тут проявилось не просто тематическое, но гораздо более глубинное “различие взгляда на жизнь”, свойственное “интеллигентному пролетарию” – или что то же – “холерически нервному сыну города”. Психопатологизм Достоевского оказывается не только и в конечном счете не столько явлением его уникального внутреннего отличия от всех и вся, сколько запечатлением внешней и внутренней жизни того социального мира, к которому обратился автор “Бедных людей”, “Двойника”, “Униженных и оскорбленных”: “Сам больной, несчастный и всю жизнь нищий, Достоевский так глубоко, как никто, мог заглянуть в эти подполья и чердаки нашей общественной жизни” [39, с. 481, 483–484].

Рассматривая последующие – в том числе самые поздние – этапы творчества Достоевского, критик рассуждает в том же духе: своеобычность, уникальность размышлений писателя сопрягается с общезначимым.

Уникальность, в том числе, сказывается, по мнению Андреевича, в мучительно противоречивых размышлениях по поводу того, “*в чем на-*

значение человека – в свободе или рабстве. <...> Он боится свободы и ненавидит рабство”. “Боится”, поскольку ассоциирует ее с возможностью “своеволия” “даже в самой дикой, безрассудной форме”. Что же касается “ненависти” к “рабству”, то в конечном счете из боязни “своеволия” склоняется к несовместимой, по Андреевичу, с этою ненавистью проповеди христианского “смирения и страдания” [39, с. 487, 489].

Именно тут – средоточие неприемлемого в Достоевском для автора книги, которое, полагает он, “полнее всего” выразилось “в знаменитой московской речи о Пушкине” с ее призывом к “гордому человеку” смириться, с ее идеями “нашего народа Богоносца”, “национального мистицизма” [39, с. 489, 491].

При всем том в духовных устремлениях Достоевского и этого периода критик усматривает плодотворное общезначимое начало. Оно – “в проповеди той мысли, что забывши о народе, вне народа, так сказать, нельзя сделать ничего <...> Уклоняясь во многом, Достоевский в этом пункте, по крайней мере, сходилась со всеми лучшими умами русской интеллигенции” [39, с. 492, 493].

Существенно и то, что при всем сложном отношении к Достоевскому критик целиком разделял утверждавшийся в ту пору взгляд на него как “великого писателя” [39, с. 479], как “гения” [39, с. 478, 479 и др.].

В книге “Опыт философии русской литературы”, вышедшей четыре года спустя, Андреевич снова воспроизвел свой взгляд на Достоевского, но дополняя его, снабжая особыми акцентами. Во главу угла выдвигается здесь – в укрупненном, по сравнению с предшествующей книгой, виде – более широкая и общая проблематика личности (в разговоре о позднем Достоевском). И это вполне объяснимо. Во второй половине 1890-х – начале 1900-х годов слово “личность” становится в ряд ключевых слов времени, определяя складывающуюся новую “философию литературы” с ее стержневой мыслью о духовном раскрепощении общества, путь к которому лежит через внутреннее освобождение отдельного человека. Одним из активных глашатаев этой “философии” и явился Андреевич. В “Предисловии” к книге он связывает “господствующую идею нашей литературы” с “борьбой за освобождение личности и личного начала прежде всего” [40, с. V].

Естественно поэтому, что отношение Достоевского к названным миросозерцательным вопросам становится для критика едва ли не самым важным мерилем оценки деятельности писателя, который, Андреевич убежден, осмысливает их в

духе своей “исполненной противоречий натуры” – “странное” сопряжение “нигилиста и монаха”. И хотя “религиозные вопросы стояли у него на первом плане”, в них одновременно соприисутствуют “муки неверия” и “жажда веры” [40, с. 388–389].

То же – в отношении к проблеме личности, где, по мнению критика, неразрешимо соединяются предвидение ницшевской концепции самоутверждающегося индивида с “русским мессианизмом”. “Личность интересовала и тревожила его (Достоевского. – В.К.) в моменты своего восстания, протеста, ниспровержения всего завещанного, обычного, традиционного. Задыхаясь, следил он за этим восстанием, и увлеченный и напуганный им”. “Напуганность” – от опасения перехода бунта личности в готовность «через все “преступить”». От “ужаса” перед этим – “опора” на религиозные поучения. Однако, убежден критик, не ради них читали и читают Достоевского. Его значение – не в поучениях, а в “вопросах личности” со всею их противоречивостью [40, с. 389–390].

Подобный взгляд на Достоевского, разумеется, был широко открыт для споров и возражений. Но несомненно важное в нем – это опять-таки отказ от былой “маргинализации” писателя. Уже сам по себе повышенный акцент на проблеме личности в его сочинениях позволял говорить о неопенимой представительности его наследия для складывающихся к концу XIX века общих судеб новой русской литературы, в которой названная проблема приобрела особый смысл.

Обратимся теперь к Д.Н. Овсяннико-Куликовскому. Наибольший объем сказанного им о Достоевском запечатлен в известном крупном труде ученого “История русской интеллигенции” с подзаголовком “Итоги русской художественной литературы XIX века”. В части II труда – “От 50-х до 80-х годов” писателю посвящены две главы: XI – “Достоевский в 70-х годах” и XII – “Идейное наследие Достоевского”. Обе – о позднем Достоевском (гл. XII представляет собой разбор “Братьев Карамазовых”), чья деятельность тех лет, по мысли автора труда, – средоточие наиболее важного в “идейном наследии” писателя. Ученый солидарен с Достоевским, смотревшим на свой роман “как на самое полное и точное выражение своей веры и своих идеалов”, но к предстоящему здесь “исповеданию веры” – равно как и в другом “литературном завещании” писателя, “знаменитой” речи о Пушкине, относится с безусловным отчуждением. Усматривает в них веяние духовного нездоровья общества в преддверии “сумрачной эпохи 80-х годов” [20, с. 291, 288, 316].

Что же до общего отношения к Достоевскому, то оно много сложнее. И это подтверждает настоящий труд, автор которого, несомненный идеологический оппонент Достоевского, убежден, что Россия заснула бы “истинно обломовским сном” в случае “торжества” его идей, каковыми прежде всего полагает “славянофильское народничество и русский мессианизм”. И однако никак не исчерпывает ими духовный мир писателя. Примечательна осторожность, с которой он говорит о чуждом ему у Достоевского уже в первом пассаже разговора о писателе. “По некоторым вопросам он выступал как консерватор. При желании можно даже найти в его сочинениях кое-какие признаки, дающие возможность причислить его к врагам освободительного движения и прогресса”. «И однако при всем том, развивается дальше мысль, в миросозерцании и еще больше в самом душевном укладе этого необыкновенного человека (курсив наш. – В.К.) были такие стороны, которыми он сближался с передовыми кругами 70-х годов, – было некоторое избирательное сродство между ним и самим “духом” времени» [20, с. 287–288, 270].

Любопытное и, в общем, весьма нечастое на тогдашнем литературно-идеологическом фоне сближение писателя с революционной народнической молодежью! Умеренный эволюционист Овсяннико-Куликовский был, разумеется, далек от нее, как и от всякого революционизма. И тем не менее признавал возвышенность ее устремлений. И то, что, разумеется, не идеологическое, но “психологическое родство утопий и иллюзий Достоевского с утопиями и иллюзиями социалистов 70-х годов” представляется ему именно в этом смысле “несомненным”, было весьма симптоматично [20, с. 281].

Выше упоминалось о влиянии концепции статьи Михайловского “Жестокий талант” на критику о Достоевском представленных тут направленных мысли. Красноречивый пример – перед нами. Но и он далек от прямолинейности. Высочайшую оценку статьи встречаем мы здесь: “Диагноз Михайловского до сих пор остается и, я думаю, навсегда останется неизменным”. И однако дальнейшее развитие мысли вносит несомненный корректив в это, казалось бы, нерушимое согласие: «“Жестокость” таланта Достоевского проявлялась не только в том, что он мучил читателя и заставлял своих героев мучить друг друга и себя самих, но также и в том, что он сам себя мучил <...> и это было одним из главных источников его творчества». Подобный усиленно запечатленный акцент не на Достоевском-мучителе, а на Достоевском-мученике, напоминает уже знакомый нам взгляд

на писателя, более близкий Короленко, нежели Михайловскому [20, с. 314, 316].

Подход к проблеме религиозных воззрений Достоевского также достаточно сложен. Достоевский предстает у исследователя натурой “глубоко религиозной”, но находившейся в постоянном преодолении противоположных умонастроений: в романе “Братья Карамазовы” “бичуя отрицателей, Достоевский бичевал” и «ту часть своего религиозного сознания, которая сомневалась, не хотела верить <...> была бессильна истребить “чорта” без остатка и водворить в душе мир и благоволение»; в “душе Достоевского <...> Христос состязался с инквизитором” [20, с. 293, 292–294, 308]. (Заметим, что подобная противоречивость религиозного видения писателя, сказывавшаяся, в том числе, и в “состязательстве” с инквизитором, становилась предметом размышлений и в религиозно-философской критике тех лет).

Но при этом автору труда было глубоко чуждо возникавшее в посмертной критике (и особенно явно выразившееся у Шестова) представление о религиозности Достоевского как некоей мимикрии. Слова Толстого о Достоевском “весь борьба” по-своему приложимы и ко взгляду Овсяннико-Куликовского.

Теперь о типе творчества Достоевского. Здесь мы не находим сколько-нибудь обстоятельных соображений, подобно высказанным об “идейном наследии” писателя. Достоевский-художник предстает лишь в самом общем ряду русской литературно-художественной классики, как бы в “снятом” виде, но с важным конечным выводом. Творчество писателя призвано стать одним из подтверждений известной теоретико-литературной концепции Овсяннико-Куликовского, изложенной в его работе 1903 г. “Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве” (а также в работах об отдельных писателях). Позволим себе напомнить о ней.

Представление о художественном эксперименте подразумевало достижение глубин творческого обобщения, но – в отличие от метода “наблюдательного” – на путях отказа от присущего последнему многообразной полноты запечатления действительности, на путях вычленения от общего целого отдельных его граней и сторон.

Писавшие о Достоевском справедливо высказывались против излишней категоричности противопоставления обоих методов [41, с. 13]. Но у Овсяннико-Куликовского есть и некатегорические, лишённые прямолинейности суждения по этому поводу, которые объясняют правомерность такого различия.

Читаем: “Истинный художник-экспериментатор (например, у нас Гоголь, Достоевский, Глеб Успенский, Чехов) производит свои *опыты* не иначе как на основе близкого и внимательного изучения жизни, которое, конечно, немислимо без широких и *разносторонних наблюдений* <...> (курсив наш. – В.К.). Но в отличие от художников-наблюдателей в тесном смысле он в своем творчестве не дает полного выражения своим наблюдениям, и только пользуется ими как средством или пособием для того, чтобы правильно поставить и повести свои опыты. При всем том, однако, в их создателях мы всегда находим массу черт, указывающих на то, что экспериментатор был в то же время и тонким, вдумчивым *наблюдателем* жизни в ее *многообразных проявлениях*” (курсив наш.– В.К.) [42, с. 99–100, 143].

Как видно, речь здесь идет более всего о *способах* “выражения” мысли, а не о ее качестве. Нарочитая “односторонность” изобразительного запечатления жизни не устраняет полноты мысли о ней, не умаляет масштабов художественного мышления, глубокого понимания действительности в самом широком ее объеме (“разносторонность”, “многообразие”), хотя в повествование как таковое этот объем вводится с подчеркнутой неполнотой (в отличие от “творчества наблюдательного”) [42, с. 99].

Существенен в данном случае общий итог мысли ученого. Не касаясь прижизненной критики о писателе, он, по существу, решительно противопоставляет распространенному в ней изолированию Достоевского от ведущих путей русской литературы, объясняемому “предметом” его творчества. Автор, напротив, постоянно и подчеркнуто включает Достоевского в общий ряд крупнейших литературных имен – из тех, кто, по его мнению, составляет “экспериментальную” школу, существование которой он мотивирует. Овсяннико-Куликовский своими путями отстаивает утверждаемый литературной мыслью рубежа веков общий “статус” Достоевского как органичайшего явления русской художественной культуры со всеми его сложностями.

В 1910 году в коллективном труде “История русской литературы XIX века” была помещена большая глава о Достоевском Ф.Д. Батюшкова.

Ее исходный тезис – совершенно особое, по мнению автора, соединение в творчестве Достоевского “мыслителя и художника”, которые “так тесно сплелись в Достоевском и так гениальны, что почти невозможно применять к оценке его произведений обычное разграничение деятельности образного мышления и логической

мысли. Достоевский в высшей степени идейный писатель и очертил целый ряд идейных героев; в то же время он обладал изумительной художественной интуицией и дал нам ряд откровений непроизвольного творчества <...>”. Этот общий тезис высказывается и к концу главы: “Именно, как художник, он остался до конца искателем, исследователем <...> не знавшим предела и ограничений всеиспытующей мысли” [43, с. 284, 325].

Но при этом толкование критиком “идейности” Достоевского отлично от общераспространенного – как социально-общественной идеологии, которое было, к примеру, у Овсяннико-Куликовского (редактора издания, в котором напечатан очерк Батюшкова), уделившего значительное внимание “идейному наследию” Достоевского в традиционном понимании. Батюшков тоже касается собственно идеологических пристрастий Достоевского, но достаточно бегло. В рамки настоящей статьи, пишет он, “не входит” “разбирать и обсуждать” взгляды Достоевского, высказанные в «публицистических статьях “Дневника писателя”», поскольку это – “особая задача”. Можно думать, что не входит прежде всего потому, что в “политическом *сredo*”, явленном в этих статьях, Достоевский не достигает, по Батюшкову, идейности в том смысле, какой становится предметом статьи, что он здесь “бесконечно ниже себя как художника и мыслителя” [43, с. 323, 324].

Что же тогда определяет “направление его творческой мысли”? “...*Лишь* (курсив мой. – В.К.) сложившиеся у него представления и те цели, к которым он шел, испытывая природу человека, которую он стремился понять в наивозможно большем объеме”. Понятие “природа”, как и “натура”, человека постоянно в тексте главы; в ее лексиконе эти слова едва ли не самые частые. С ними связывает критик главное в художественных открытиях Достоевского, знаменующее своего рода возвышение “вечного” над “временным”. Уже в характерах ранних его произведений – “дело не в среде, не в условиях жизни, а в сущности человеческой природы”, полагает критик; он обращает внимание на протест Достоевского (в “Дневнике писателя”) «против распространительного значения, которое придавалось, как он выразился, “философии среды”»; утверждает, что “сущность многих из его произведений” поздних лет «находится как бы вне времени и пространства, и особенно <...> в “Карамазовых”». Но подобное истолкование, при всех его достоинствах, “творческой мысли” писателя теснит, а порою даже вытесняет иные ее аспекты [43, с. 323, 293, 302, 304].

Показательны страницы, посвященные “Преступлению и наказанию”, самому совершенному,

по мнению Батюшкова, созданию Достоевского. Разбор этого “идейного романа” (определение критика), тем не менее полностью отвлекается от своего известного общественно-идеологического контекста, породившего столкновение “нигилистической” и “антинигилистической” точек зрения в оценке сочинения (формулы критики консервативного лагеря). Контекста, к которому неминуемо обращалось подавляющее большинство писавших о произведении. И более того. Критик дает понять, что данный контекст вообще не имеет значения для уяснения сути происходящего и сути главного героя, в котором «действует, как говорится в “Записках из подполья”», только “натура человеческая вся целиком”, и нет “никаких <...> приводящих обстоятельств <...> ни политики <...>, ни партийных давлений на индивидуальную волю” [43, с. 306, 311].

Однако в разборе “Бесов”, разумеется, нельзя было подобным образом отвлечься от конкретной социально-идеологической проблематики сочинения. И Батюшков говорит в этом случае уже не об “идейном” в широком смысле романе, а о замысле “политического романа”, призванного выразить восприятие писателем “революционных течений” времени. Но и здесь остается на своей общей позиции по отношению к Достоевскому, проводя отчетливую грань между замыслом, тенденцией, легших в основу произведения, и его исполнением: «Единственный “тенденциозно” задуманный роман <...> оказался неизмеримо выше вложенной в него тенденции»; «формальная “тенденциозность” автора играет, однако, весьма второстепенную роль при оценке романа по существу» [43, с. 317, 285, 318].

При этом критик не отстраняет собственно политическую проблематику сочинения, но ограничивает охваченное ею пространство. Оно целиком занято, по мнению Батюшкова, лишь фигурой Петра Верховенского и его сообщников. обстоятельно рассматривая образ последнего, критик проницательно указывает на “действительно пророчески очерченный тип организатора политического заговора”. Что же касается других основных героев – Ставрогина, Кириллова, Шатова – то полагает, что они «стоят почти что совсем вне “политики” <...>». Их пафос иной – “настоячивые искания спекулятивной правды”, погружающей в “область метафизических вопросов”, в область “богоискательства”, по-разному осмысливаемого. В результате естественен и справедливо предложенный взгляд на своеобычность сочинения Достоевского, возвышающего и в этом случае “вечное” над “временным”: “Политика сведена к вопросам этики, с одной стороны,

а с другой – к философски-религиозным запросам мысли” [43, с. 318–321].

В такого рода суждениях заметно сходство с подходами к Достоевскому модернистской критики (кстати, в статье Батюшкова встретятся эпизодические ссылки на нее в положительном смысле). Но вместе с тем заметно и различие, которое состоит, в частности, в том, что последняя – в большинстве наиболее крупных своих проявлений ставила *во главу угла* творчества писателя философско-религиозную проблематику, в то время как Батюшков выдвигал в качестве его первоосновы и первопричины проблематику психологическую – индивидуально-личностный, сокровенно-эмоциональный внутренний мир героев. Гениальный психолог – именно это всего важнее автору главы о Достоевском. И именно отсюда, по убеждению Батюшкова, лежит путь к философско-метафизическим вопросам как производным. “От психологии к религии” – так назван первый раздел главы. Ключевая мысль, содержащаяся в нем, настойчиво утверждается как в самом общем плане (“Психологические наблюдения были исходным пунктом всех его отвлеченных и метафизических построений”; “от углубления в мир психических явлений <...> переход к исканию абсолюта”), так и в анализе отдельных сочинений (“В связи с пробуждением любви [к Соне. – В.К.] и поворот к религии” о Раскольникове; “личное начало в борьбе с самим собою за поисками вечного и устойчивого” – о Ставрогине и др.) [43, с. 286, 287, 290, 325, 284, 287, 312, 321].

Наконец осмысление Батюшковым психологического искусства Достоевского – еще одно опровержение распространенных тенденций предшествующей критики и, прежде всего, уже не раз упоминаемой “маргинализации” творчества писателя. Опровержение это предстает с особой явственностью ввиду того, что содержит открыто полемическую ноту. “Прозрения” Достоевского “в области психо-патологических явлений”, к чему достаточно часто сводились основные заслуги писателя, – по Батюшкову, лишь небольшая часть широчайшей масштабности художественно-психологического исследования. Уже в самом начале главы высказано возражение в адрес Н.Н. Страхова, его суждения (из воспоминаний о писателе) о Достоевском как “субъективнейшем из романистов, почти всегда создававшим лица по образу и подобию своему”. Между тем естественный факт, что Достоевский “черпал материал для своих художественных образов <...> в разных свойствах <...> своего необыкновенно сложного и многогранного душевного организма”, никоим образом

не приводит к изолированной от мира субъективации его “творческих созданий”, их в этом смысле исключительности. Они представляются автору главы “чрезвычайно объективными”, поскольку “он был гениально проницателен в понимании и изображении чужой психики, в создании образов, кажущихся совершенно самостоятельно живущими” [43, с. 284, 285, 286].

Любопытна невольная перекличка этих суждений о “чужой психике” с уже приводимыми выражением Льва Толстого в письме Страхову по тому же самому поводу (с чем Батюшков в пору написания статьи не мог быть знаком). “Результат тот, – писал Толстой, – что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему (Достоевскому. – В.К.) люди, но иностранцы узнают себя, свою душу”. А “иностранцы” – это ведь и иностранная литература, к которой решительно апеллировал Батюшков за подтверждениями гениальности Достоевского.

К примеру: “...такое испытание характеров, при котором они разворачиваются во всем их объеме, с небывалой в мировой литературе смелостью замысла” (о “Бесах”); “он и все его творчество оказались <...> откровением для западно-европейских писателей и мыслителей”; в области «определения “натуры” человека, анализа ее сущности, раскрытия ее различных проявлений <...> Достоевский занимает исключительно выдающееся место даже в мировой литературе» [43, с. 320, 325, 333, 334].

Как и любая особая точка зрения, дискуссионна и работа Батюшкова. Можно отметить, например, неоправданное подчас отвлечение от общественно-исторического контекста сочинений Достоевского (о чем уже было сказано), чрезмерный порою акцент на религиозных сомнениях писателя и др. Но неоспоримой заслугой критика явилось настойчивое утверждение высочайшей представительности Достоевского, которую прежде всего связывал критик – с особенно глубоким в масштабе всемирной литературы – изображением извечных свойств жизни духа, проникновением в потаенные иррациональные ее недра, отказываясь от характерной для демократической критики (особенно прежних лет) тенденции рассматривать творчество писателя лишь сквозь призму его и его оппонентов общественного “направленства”.

Эту тенденцию особенно настойчиво отстаивал Р.В. Иванов-Разумник в своем труде “История русской общественной мысли”, демонстрируя разительное несоответствие “бессильной”, “наивной”, “противоречивой”, “путаной” общественной платформы Достоевского (как и Толстого)

с его могучим творчеством. Противоположение это еще более категорично, чем у Батюшкова. Но соответственно еще более настойчиво стремление освободить оценку художественной деятельности “мирового гения” от диктата идеологических критериев. Она понята исследователем в духе собственной философии “имманентного” индивидуализма, которой он по-своему поверяет и творчество писателя. Но характерное для философско-критической литературы о Достоевском начала века стремление приобщить писателя к своей вере имеет в этом случае достаточно широкий, не доктринерский характер. Речь идет прежде всего о глубочайшем распознавании Достоевским феномена человека в его истинной сути, подразумевающей единение неповторимо личностного с открытостью миру и людям, отвержение “ультраиндивидуализма” во имя индивидуализма “этического”: «Никто и никогда не доходил еще до таких бесконечных глубин этического индивидуализма! Никто и никогда не ставил так гениально проблему самоцельности человека, никто и никогда не вскрывал так ярко всю этическую неприемлемость формулы “человек – средство”!» [44, с. 86–87].

В пафосе “идеальности и “всемирности” Достоевского, в поисках иных критериев изучения его творчества Иванов-Разумник оказался, пожалуй, ближе, чем все критики его ориентации, другому направлению критической мысли о писателе, связанному с модернистским движением.

И это нетрудно объяснить, если иметь в виду общую эволюцию эстетических понятий Иванова-Разумника.

Скажем о ней в суммарном виде. К концу предоктябрьских лет критик отчетливо тяготел к творчеству символистов. «В подробном плане задуманной Ивановым-Разумником “Критической истории современной литературы” (1916) символизму уделено весомое место, и он укрупняется в своем историко-литературном значении» [45, с. 374]. А в послереволюционное время критик признал символизм – в лице самых крупных его деятелей – вершинным явлением русской литературы – прежде всего в очерке “Русская литература XX века (1890–1915 гг.)” (Пг., 1920).

Однако в предшествующий период общая ориентация Разумника являлась принципиально иной. Она нашла выражение в отдельных публикациях – главным образом 1913–1914 годов – на страницах журнала “Заветы”, где критик занимал руководящее положение. В основу концепции выдвигалась оппозиция современных критику реализма и символизма, толкование которых

отличалось чрезмерной категоричностью – как “непримиримого столкновения двух враждебных систем мировоззрений” [46, с. 89, 2-я паг.]. При этом Разумник безоговорочно занимал сторону реализма. Говоря в начале 1914 г. о “кризисе символизма” и предсказывая подъем на другом фланге литературы (“Я боюсь быть пророком <...> но мне кажется, что мы теперь понемногу идем к воскрешению реализма <...>”), он декларирует свое credo: “Мы – люди нового *реалистического* сознания <...> символизм чужд нам, нашему психологическому типу и миропознанию. Пусть адепты его идут своим путем, – мы будем идти своим <...> твердо идти к вечным целям по вечному пути реализма” [47, с. 107, 109–110, 2-я паг.].

Заметим, однако, что другие рассуждения Разумника в известном смысле противостоят подобной категоричности. Речь шла до сих пор о несовместимости мирозерцательной. Что же до эстетических завоеваний символизма, его “блестящих литературных побед”, то критик признает их первейшее влияние на художественное обновление реализма [46, с. 89, 2-я паг.]. Ключевой тезис Иванова-Разумника о “непримиримости” систем содержит, как видно, существенную уступку по отношению к *собственно* художественным взаимодействиям в текущем литературном процессе.

Но речь не только об этом. Демонстрируя глубину различия между двумя эстетическими феноменами, критик в то же время постулирует некий «общий закон развития человеческой мысли» – от “*индивидуального*” к “*социальному*” и от него – к “*универсальному*» [48, с. 24], которому подчинены и все истинные явления художественного творчества. “Новый реализм” (в терминологии Разумника) и символизм достигают того, что критик считает самым главным в переходе к “универсальному”. Иначе говоря, того наиболее общего, что сближает их, вопреки разным путям мысли. Современная литература видится дальнейшим движением к этим целям по сравнению с ее прошлым. Почитая “великой общественной заслугой” “общественное учительство” прошлой русской литературы, Иванов-Разумник озабочен тем, чтобы оно “не подавляло собою” “высших нравственных, эстетических, философских и, в широком смысле, религиозных запросов человеческого духа” [49, с. 3] (“широкий смысл” означает философско-антропологическое толкование, которое вкладывал критик в понятие “религия Человека”). Отсюда – “главная задача критика” «определить “философию”, чаще всего бессознательную, художника и его произведения» [48, с. 10].

Существенно, что тенденция ограничения “общественного учительства” (но лишь в подразумеваемом здесь значении) характеризовала в это время многие явления демократического литературно-общественного движения – при этом, что особенно важно, как умеренно либерального, так и радикального.

В первом случае – это Д.Н. Овсяннико-Куликовский. В свои рассуждения он вводит понятие “сверх-социальность”, которое составляет основу подлинного искусства. При этом главное внимание он обращает не на модернизм, которому он был чужд, а на творчество реалистическое [50, с. 289–290].

Е.А. Соловьев (Андреевич), представлявший, в отличие от Овсяннико-Куликовского, радикальное направление в критической мысли, упрекал “нашу журналистику” прошлого столетия за “низкую оценку” “представителей так называемого чистого искусства”, возвысивших “красоту” над “проповедью”, а прочих деятелей нашей литературы – в том, что, занятые “устройством народного быта”, они “готовы были даже отказаться от философии”. И при этом настаивал на “освободительной, революционной роли красоты”, которая выносит приговор «“нашей безобразной жизни <...> с точки зрения “прекрасного” <...>» [40, с. 14, 13, 473].

В 1903 г. критик М. Неведомский (М.П. Миклашевский) говорил о русской литературе, которая перестает быть “суррогатом гражданской жизни”. Именно потому, что “общественность пробуждается” и “не в одной только литературе бьется пульс общественной жизни”, мы “можем теперь позволить себе некоторую роскошь – отдохнуть от художественной публицистики <...>» [51, с. 38, 40–42].

Понятие Иванова-Разумника об онтологическом содержании, призванном стать вершинной составляющей “нового реализма”, вырастает, как видно, из предшествующих устремлений критической мысли первых лет двадцатого столетия, не раз обращавшейся к наследию Достоевского. Для Разумника же оно становится подлинно указующим перстом в осуществлении задачи обновления литературы, так или иначе присутствуя (названное или подразумеваемое) в качестве критерия оценки творчества ряда особенно привлекавших критика современных писателей-реалистов и художников слова “промежуточной” (между реализмом и модернизмом) ориентации. Быть может, наиболее красноречивое свидетельство этого находим в суждении о Леониде Андрееве. «В творчестве Андреева мы видим возвращение “назад к Досто-

евскому». Это возвращение назад бывает иногда громадным шагом вперед <...> Вечные карамазовские вопросы снова поставлены на очередь современным художественным творчеством» [52, с. 160]. Позднее мы встречаем подобного рода констатации в оценке крупнейших символистов – А. Блока и особенно А. Белого [53, с. 44, 70, 78, 93, 99, 105–106, 158–165 и др.].

В целом, уроки Достоевского предстают у критика претендующими на особое внимание во всем современном ему литературном процессе, столь же важными для модернистского творчества, сколь и для новореалистического литературного движения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Михайловский Н.К. Жестокий талант // Михайловский Н.К. Литературно-критические статьи. М., 1957. [Mihajlovskiy, N.K. [The Cruel Talent] Mihajlovskiy, N.K. *Literaturno-kriticheskie stat'i* [Literary-Critical articles]. Moscow, 1957.].
2. Шестов Л. Достоевский и Нитше (философия трагедии). СПб., 1903. [Shestov, L. *Dostoevskiy i Nitshe (filosofija tragedii)* [Dostoevskiy and Nietzsche (Philosophy of the Tragedy)]. St. Petersburg, 1903.].
3. Страхов Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском / Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. [Strahov, N. [Memorials to Fedor Mihajlovich Dostoevskiy] Dostoevskiy, F.M. *Poln. sobr. soch.* [Complete Works]. St. Petersburg, 1883, vol. 1.].
4. Переписка Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым. СПб., 1914. [Perepiska L.N. Tolstogo s N.N. Strahovym [The Correspondence of L.N.Tolstoy and N.N.Strahov]. St. Petersburg, 1914.].
5. Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984. [Strahov, N.N. *Literaturnaja kritika* [Literary Critical Essays]. Moscow, 1984.].
6. Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского. М., 1981. [Rozenbljum, L.M. *Tvorcheskie dnevniki Dostoevskogo* [Creative Diaries of Dostoevskiy]. Moscow, 1981.].
7. Яснополянский сборник. Статьи и материалы. Год 1960-й. Тула, 1960. [Jasnopoljanskij sbornik. Stat'i i materialy. God 1960-j [The Collection of Yashaya Polyana. Essays and Materials. The Year 1960]. Tula, 1960.].
8. Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. М., 1928. [Apostolov, N.N. *Lev Tolstoy i ego sputniki* [Leo Tolstoy and his Mates]. Moscow, 1928.].
9. Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. [L.N. Tolstoj v vospominaniyah sovremennikov: V 2 t. [L.N. Tolstoy in the Memotials of Contemporaries, in 2 Vols.]. Moscow, 1955, vol. 1.].
10. Гончаров И.А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. [Goncharov, I.A. *Sobr. soch.: V 8 t.* [Collected Works, in 8 Vols.]. Moscow, 1955, vol. 8.].
11. Булгаков В. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н. Толстого. М., 1957. [Bulgakov, V. *L.N. Tolstoj v poslednij god ego zhizni: Dnevnik sekretarja L.N.Tolstogo* [L.N. Tolstoy in tje Last Year of His Life: Diary by L.N.Tolstoy's Secretary]. Moscow, 1957.].
12. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. (Репринтное воспроизведение издания 1928–1958 гг.). Т. 30. М., 1992. Т. 66. М., 1992. [Tolstoj L.N. *Poln. sobr. soch. (Reprintnoe vosproizvedenie izdanija 1928–1958 gg.)* [Complete Works (Reprinted Edition of 1928-1958)]. Vol. 30. Moscow, 1992. Vol. 66. Moscow, 1992.].
13. Леонтьев К. Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1913. Т. 7. [Leont'ev, K. *Sobr. soch.: V 9 t.* [Collected Works in 9 Vols.]. St. Petersburg, 1913, vol. 7.].
14. Бочаров С.Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике // Контекст-1977. М., 1978. [Bocharov, S.G. [«Aesthetic protection» in Literary Criticism] *Kontekst-1977* [Context-1977]. Moscow, 1978.].
15. Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 8. М., 1956. Т. 10. [Korolenko, V.G. *Sobr. soch.: V 10 t.* [Collected Works in 10 Vols.]. Moscow, 1955, vol. 8. Moscow, 1956, vol. 10.].
16. Кронрод И.А. Пометы В.Г.Короленко на книгах Достоевского // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. [Kronrod, I.A. [Marginal Notes of V.G. Korolenko in the Books of Dostoevskiy] *Literaturnoe nasledstvo* [Literary Heritage]. Moscow, 1973, vol. 86.].
17. Морозова Т.Г. Короленко о Достоевском // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. [Morozova, T.G. [Korolenko about Dostoevskiy] *Literaturnoe nasledstvo* [Literary Heritage]. Moscow, 1973, vol. 86.].
18. Вересаев В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961, т. 3. [Veresaev, V. *Sobr. soch.: V 5 t.* [Collected Works in 5 Vols.]. Moscow, 1961, vol. 3.].
19. Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890–1904: Социал-демократические и общедемократические издания. М., 1981. [Literaturnyj process i russkaja zhurnalistika konca XIX – nachala XX veka. 1890–1904: Social-demokraticheskie i obshhedemokraticheskie izdanija [The Literary Process and Russian Journalism in the Period of the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century. 1890–1904: Social-Democratic and Democratic Editions]. Moscow, 1981.].
20. Овсяннико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века. Часть II (от 50-х до 80-х годов). М., 1907 [Ovsjaniko-Kulikovskiy, D.N. *Istorija russkoj intelligencii. Itogi russkoj hudozhestvennoj literatury XIX veka. Chast' II (ot 50-h do 80-h godov)*

- [The History of Russian Intelligentsia. Results of Russian Literature of the 19th Century. Part II (1850–1890)]. Moscow, 1907.].
21. Михайловский Ник. Литература и жизнь // Русское богатство. 1894. № 12. [Mihajlovskiy, Nik. [Literature and Life]. *Russkoe bogatstvo* [Russian Spiritual Wealth]. 1894, no. 12.].
  22. Михайловский Ник. Литература и жизнь // Русское богатство. 1894. № 11. [Mihajlovskiy, Nik. [Literature and Life]. *Russkoe bogatstvo* [Russian Spiritual Wealth]. 1894, no. 11.].
  23. Булгаков С. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип // Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 1 (янв.-февр.). [Bulgakov, S. [Ivan Karamazov (in the Novel of Dostoevskiy «The Brothers Karamazov») as a Philosophical Model]. *Voprosy filosofii i psihologii* [Philosophical and Psychological Studies]. 1902, vol. 1 (January – February).].
  24. Луначарский А. Русский Фауст // Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. III (май-июнь). [Lunacharskiy, A. [The Russian Faust]. *Voprosy filosofii i psihologii* [Philosophical and Psychological Studies]. 1902, vol. III (May – June).].
  25. О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. Сборник статей. М., 1990. [O Dostoevskom: *Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 1881–1931 godov. Sbornik statej* [On Dostoevskiy: Dostoevskiy's Creative Work in the Russian Philosophy of 1881-1931. Collected Reviews]. Moscow, 1990.].
  26. Ленин В.И. Письмо к И.Ф.Арманд от 5/VI–1914 // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. Т. 48. М., 1970. [Lenin, V.I. [The Letter to I.F.Armand of 5/VI–1914] Lenin V.I. *Poln. sobr. soch.: V 55 t. 5-e izd. T. 48.* [Lenin, V.I. Complete Works in 55 Vols. The 5th Iss. Vol. 48]. Moscow, 1970.].
  27. Переверзев В.Ф. Творчество Достоевского: критический очерк. М., 1912. [Pereverzev, V.F. *Tvorchestvo Dostoevskogo: kriticheskij ocherk.* [The Creative Work of Dostoevskiy: Critical Review]. Moscow, 1912.].
  28. Бялик Б. М. Горький – литературный критик. М., 1960. [Bjalik, B.M. *Gor'kiy – literaturnyj kritik* [M. Gorkiy – Literary Critic]. Moscow, 1960.].
  29. Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. [Gor'kiy, M. *Poln. sobr. soch. Pis'ma: V 24 t.* [Complete Works. Letters: in 24 vols.].].
  30. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 23; М., 1953. Т. 24. [Gor'kiy, M. *Sobr. soch.: V 30 t.* [Collected Works in 30 Vols.]. Moscow, 1953, vol. 23; Moscow, 1953, vol. 24.].
  31. Балухатый С. Критика о Горьком. М., 1934. [Baluhatyj, S. *Kritika o Gor'kom* [Critical Essays on Gorkiy]. Moscow, 1934.].
  32. Горький М. История русской литературы. М., 1939. [Gor'kiy, M. *Istorija russkoj literatury* [History of Russian Literature]. Moscow, 1939.].
  33. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 16. [Dostoevskiy, F.M. *Poln. sobr. soch.: V 30 t.* [Complete Works in 30 Vols.]. Leningrad, 1976, vol. 16.].
  34. Чуковский К. Утешеньишко людишкам // Речь, 1915, 5 июля, 12 июля. [Chukovskiy, K. [A Little Consolation for Small Men] *Rech'* [Discourse]. 1915, The 5th of July, The 12th of July.].
  35. Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Художественные произведения. М., 1971. Т. 10; 1972. Т. 14. 1972. Т. 15. [Gor'kiy, M. *Poln. sobr. soch.: V 25 t. Hudozhestvennye proizvedenija* [Complete Works in 25 Vols. Literary Works]. Moscow, 1971, vol. 10; 1972, vol. 14. 1972, vol. 15.].
  36. Андреева М.Ф. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М., 1961. [Andreeva, M.F. *Perepiska. Vospominanija. Stat'i. Dokumenty* [Correspondence. Memorials. Articles. Documents]. Moscow, 1961.].
  37. Келдыш В.А. Автобиографический цикл 10-х годов и его критика // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1989. [Keldysh, V.A. [The Autobiographical Cycle of the 1910s and its Criticism] *Gor'kiy i ego jepoha: Issledovanija i materialy. Vyp. 2* [Gorkiy and His Time: Studies and Materials. Iss. 2]. Moscow, 1989.].
  38. Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. [Blok, A. *Sobr. soch.: V 8 t.* [Collected Works in 8 Vols.]. Moscow, Leningrad, 1963, vol. 8.].
  39. Евг. Соловьев (Андреевич). Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб., 1902. [Evg. Solov'ev (Andreevich). *Oчерки по istorii russkoj literatury XIX veka* [Essays on the History of Russian Literature of the 19th Century]. St. Petersburg, 1902.].
  40. Андреевич. Опыт философии русской литературы. СПб., 1906. [Andreevich. *Opyt filosofii russkoj literatury* [Essay on Russian Literature Philisophy]. St. Petersburg, 1906.].
  41. Манн Ю. Овсяннико-Куликовский как литературовед // Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы в двух томах. М., 1989. Т. 1. [Mann, Ju. [Ovsjaniko-Kulikovskiy as a Specialist in Literature Study] *Ovsjaniko-Kulikovskiy, D.N. Literaturno-kriticheskie raboty v dvuh tomah.* [Literary-Critical Works in Two Volumes]. Moscow, 1989, vol. 1.].
  42. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы в двух томах. М., 1989. Т. 1. [Ovsjaniko-Kulikovskiy, D.N. *Literaturno-kriticheskie raboty v dvuh tomah* [Literary-Critical Works in Two Volumes]. Moscow, 1989, vol. 1.].
  43. Батюшков Ф.Д. Федор Михайлович Достоевский (1821–1881). История русской литературы XIX века. М., 1910. Вып. 21. [Batjushkov, F.D. *Fedor Mihajlovich Dostoevskij (1821–1881). Istorija russkoj literatury XIX veka* [Fedor Mihajlovich Dostoevskij (1821–1881). History of Russian Literature of the 19th Century]. Moscow, 1910, iss. 21.].

44. *Иванов-Разумник*. История русской общественной мысли. Пг., 1918. Ч. 6. [Ivanov-Razumnik. *Istorija ruskoj obshhestvennoj mysli* [History of Russian Social Philosophy]. Petrograd, 1918, part 6.].
45. *Лавров А.В.* Переписка с Р.В. Ивановым-Разумником // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1981. [Lavrov, A.V. [Letters to Ivanov-Razumnik] *Literaturnoe nasledstvo*. T. 92. Kn. 2. Aleksandr Blok. *Novye materialy i issledovaniya* [Literary Heritage. Vol. 92. Book 2. Alexander Blok. New Materials and Studies]. Moscow, 1981.].
46. *Иванов-Разумник*. Русская литература в 1913 г. // Заветы. 1914. № 1. [Ivanov-Razumnik. [Russian Literature in 1913] *Zavety* [Pledges]. 1914, no. 1.].
47. *Иванов-Разумник*. Вечные пути (реализм и романтизм) // Заветы. 1914. № 3. [Ivanov-Razumnik. [Eternal Ways (Realism and Romantism)] *Zavety* [Pledges]. 1914, no. 3.].
48. *Иванов-Разумник*. Великий Пан // Иванов-Разумник. Творчество и критика. Статьи критические. 1908–1922. Пг., 1922. [Ivanov-Razumnik. [The Great Pan] Ivanov-Razumnik. *Tvorchestvo i kritika. Stat'i kriticheskie. 1908–1922* [Creative Works and Criticism. Critical Essays / 1908-1922]. Petrograd, 1922.].
49. *Иванов-Разумник*. Литература и общественность. СПб., 1911. [Ivanov-Razumnik. *Literatura i obshhestvennost'* [Literature and Public Opinion]. St. Petersburg, 1911.].
50. *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Вопросы психологии творчества. СПб., 1902. [Ovsjaniko-Kulikovskiy, D.N. *Voprosy psihologii tvorchestva* [Studies in Creative Psychology]. St. Petersburg, 1902.].
51. *Неведомский М.* О современном искусстве: Леонид Андреев // Мир Божий. 1903. № 4. [Nevedomskiy, M. [On Contemporary Creative Works: Leonid Andreev] *Mir Bozhij* [God's Earth]. 1903, no. 4.].
52. *Иванов-Разумник*. О смысле жизни: Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов. СПб., 1908. [Ivanov-Razumnik. *O smysle zhizni: F. Sologub, L. Andreev, L. Shestov* [On the Sense of Life: F. Sologub, L. Andreev, L. Shestov]. St. Petersburg, 1908.].
53. *Иванов-Разумник*. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Петроград, 1923. [Ivanov-Razumnik. *Vershiny. Aleksandr Blok. Andrej Belyj* [Summits. Aleksandr Blok. Andrej Belyj]. Petrograd, 1923.].